

Людмила Сараскина

Воззвание А.И. Солженицына «Жить не по лжи!»:
традиция, современный комментарий

(Доклад на Международном коллоквиуме «Наш современник Александр Солженицын»
Париж, 19–21 марта 2009, Колледж Бернاردэн).

...Запах лжи, почти неуследимый
сладкой и святой, необходимой,
может быть, спасительной, но лжи,
может быть, полезительной, но лжи,
может быть, и нужной, неизбежной,
может быть, хранящей рубежи
и способствующей росту ржи,
все едино — тошный и крошечный
запах лжи...
(Б. Слуцкий)

Воззвание «Жить не по лжи!», ушедшее в Самиздат и на Запад 13 февраля 1974 года, назавтра после ареста Солженицына и в день его депортации из страны, готовилось в 1972–1973 гг. как призыв к кампании идеологического неповиновения. Известно, что в ходе работы над текстом подобный призыв был осознан как преждевременный и потому приобрёл форму обращения нравственного.

В чём была причина целевой переориентации воззвания, почему автор сознательно снижал градус протеста? Текст содержал вполне внятные объяснения. *Мы* (имелись в виду те, кому адресовалось воззвание) — бессильны... Всеобщая духовная гибель насунулась на всех нас... Мы трусливо улыбаемся и косноязычно лепечем... Мы безнадежно расчеловечились... У нас не осталось ни твёрдости, ни гордости, ни сердечного жара... Мы боимся более всего на свете шагов гражданского мужества... Нам бы только не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку... Мы ничего не можем...

Социальный портрет общества образца 1970-х, как его видел Солженицын, содержал такие свойства и характеристики, что призывать это общество к идеологическому, а тем более к гражданскому неповиновению было не только безнадежно, но и бессмысленно. Чтобы бодаться с «дубом», следовало рассчитывать силы, иметь твёрдые намерения. Исходя из собственного опыта, Солженицын предлагал соотечественникам всего лишь *личное неучастие во лжи*. Тот из современников, кто соглашался с такой программой, должен был впредь не говорить, не писать, не подписывать и не печатать то, что, по его мнению, искажает правду, кем бы он ни был — агитатором, учителем, актёром, воспитателем. А также не проводить ложную мысль живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально. Не ссылаться без внутреннего убеждения на официальные материалы — для страховки, из угождения, для карьеры. Не ходить против желания на митинги и демонстрации, не брать в руки фальшивые транспаранты или лозунги. Не

голосовать за то или за того, чему или кому нет сочувствия; не присутствовать на заведомо лживых собраниях или покидать их (а также лекцию, спектакль, киносеанс), как только прозвучит пропагандистская ложь. «Вот это и есть наш путь, самый лёгкий и доступный при нашей проросшей органической трусости»¹, — писал Солженицын.

Трудно, кажется, было не заметить эту уничижительную поправку — про лёгкий путь и органическую трусость, однако потенциальные адресаты воззвания тогда почти не обратили на эту поправку внимания. Потому что другой путь, не столь лёгкий и не столь доступный, путь для людей, обладающих отвагой и гражданским мужеством, оставался в глазах общества зоной одинокого подвига. И напрашивался вопрос: был ли для автора воззвания пункт о личном неучастии во лжи эталоном и потолком протестного поведения?

В жизни Солженицына на рубеже 1960–1970 годов появилось новое измерение и новое содержание. За одиннадцать лет, что прошли после ссылки, в мае 1967-го, он впервые ощутил вкус своей разгромной победы над «дубом», и это ощущение было поистине захватывающим. А ведь был уже триумф «Ивана Денисовича», и был уже написан «Архипелаг», а сам писатель уже несколько лет пользовался легальным статусом и растущей известностью. Но именно тогда, в 1967-м, после публикации «Письма к IV съезду писателей СССР», он впервые мог сказать: «Блаженное состояние! Наконец-то я занял своеродную, свою прирождённую позицию! Наконец-то я могу не суетиться, не искать, не кланяться, не лгать, а — пребывать независимо!»² *Пребывать независимо, не лгать, не искать, не кланяться и не суетиться* — это был нравственный императив, обращённый к самому себе. Он высказался, и впредь ему не нужно было таиться и притворяться. Это был качественный прорыв из подполья и полуподполья на вольный воздух. Но градус свободы заключался не в пассивном уклонении от общественной лжи («пути лёгком и доступном»), а в публичном протестном поведении, резкой и дерзкой критике власти, открытом противостоянии системе. И дело было даже не в том, что он готов был пострадать за правду, — он хотел победить, то есть сокрушить ложь.

Показательно, что власть воспринимала «выпады» Солженицына (так она называла «Письмо к съезду») как запрещённый прием — удары против правил, поведение вне закона. И действительно, все общественные шаги Солженицына после этого письма — это поступки за рамками стандартов общения гражданина с властью, принятых и допустимых в советском обществе. Так, письмо секретарям правления СП СССР было названо одним из секретарей, С. Михалковым, «подлым и вызывающим». «В конце концов — ещё бы им меня не ненавидеть! Ведь я — отрицание не только их лжи, но и всей их лукавой прошлой, нынешней и будущей жизни»³, — писал Солженицын. «Открытое письмо» секретариату СП РСФСР (ноябрь 1969 г.) было воспринято с ещё большим ужасом и негодованием — и уже не только

властью, не только высшими функционерами Союза писателей, но и рядовыми братьями по цеху: «измена», гневались они, «нож в спину», «сумасшествие». Твардовский назвал это письмо антисоветской листовкой, прямым бунтом, предательством и злодейством. А Солженицын попытается объяснить Твардовскому, что воспринимает свою жизнь как постепенный подъём с колен, как переход от немоты к свободному голосу. Обращение к съезду, как и письмо в секретариат, скажет он, было моментом *высокого наслаждения, освобождения души*. Писатель, вырываясь из оков системы, каждый свой поступок сверял с историей: не стыдно ли будет через двадцать лет?

Отныне забота Солженицына состояла не только в намерении никогда не лгать, а в том, чтобы укрепить силу голоса, сказать *всю главную правду*, не прогибаясь и не снижая темпа. Это было уже совсем другое качество гражданского поведения. «Он был единственным среди нас со своим *неповиновением*... Ему не простили, что впервые, придя *оттуда*, рассказал, что *там* есть... Безумие его “Открытого письма” не в счет...», — писал Твардовский в своём дневнике.

Но не только литературные и партийные функционеры считали Солженицына безумцем. После «Письма Патриарху Пимену» (1972) значительная часть интеллигенции отвернулась от писателя, не приняв его призыва к духовному, религиозному освобождению от лжи. С письма к Патриарху, и ещё раньше — с романа «Август Четырнадцатого» начался раскол в рядах его читателей. «В первых вещах я маскировался перед полицейской цензурой — но тем самым и перед публикой. Следующими шагами мне неизбежно себя открывать: пора говорить всё точнее и идти всё глубже. И неизбежно терять на этом читающую публику, терять современников, в надежде на потомков»⁴.

Уже тогда Солженицын не питал иллюзий насчёт большинства своих читателей, то есть их открытости главной правде. «Со мной остаётся меньше, чем уходит»⁵, — писал в тот момент Солженицын. Священник Всеволод Шпиллер в интервью, данном корреспонденту Агентства Печати Новости 18 февраля 1974 г., заявил, что не считает Солженицына религиозным писателем. Правда христианства другая, настаивал о. Всеволод. Он бросал упрёк Солженицыну в отсутствии любви, а «Письмо Патриарху» объявлял высокомерным и пренебрежительным. Видя выражение церковности прежде всего в молитвенной практике церкви, он не принял «активизма» Солженицына и даже объявил этот «активизм» профанным. Солженицын обвинялся в том, что не смог приблизиться к духовному опыту Церкви, и был заподозрен в стремлении внести в неё раскол.

Реакция советского официоза и представителей Русской Православной Церкви, которые дали себя использовать в момент высылки Солженицына как его непримиримых критиков, была тождественной: «активизм» Солженицына трактовался как деятельность одновременно и антисоветская,

и антицерковная. Как символично было это «распни», исходящее и от светской власти, и от власти духовной, и от власти толпы! Но вот Н.А. Струве, напротив, писал, что в православных кругах на Западе «Письмо Патриарху» было встречено всеобщим сочувствием — все увидели в обращении Солженицына не только и не столько осуждение Патриарха, сколько тревогу за бытие Церкви⁶.

Тревогу за бытие страны выражал Солженицын и в «Письме вождям», предостерегая правительство от грозящей национально-государственной катастрофы. Письмо носило обличительный и бескомпромиссный характер, было вызовом, за который писатель готов был платить самую высокую цену. Естественно, что весь официоз солидарно увидел в нём крамолу. «Государством проклятый, госбезопасностью окольцованный» Солженицын оставался одиночкой, и его риторическое «Мы» в воззвании «Жить не по лжи!» никак не могло относиться к нему самому. Но именно так он понимал русский жребий, и только сетовал, что желающих выбрать его остаётся всё меньше.

Итак, «самый лёгкий и доступный» путь, который был рекомендован соотечественникам, никак не соответствовал линии сопротивления, избранной писателем для себя. Могли вдохновлять только исторические прецеденты — и они, конечно, были. За 80 лет до Солженицына перед сходным выбором стоял другой правдоискатель — Л.Н. Толстой. «Есть люди, к которым мы принадлежим, которые знают, что наше правительство очень дурно, и борются с ним»⁷, — писал он в 1896-м в связи с запретом комитета грамотности. Со времён Радищева, полагал Толстой, известны два способа борьбы. Один — Стеньки Разина, Пугачёва, декабристов, революционеров 1860-х годов, деятелей 1-го марта. Другой — способ «постепеновцев», то есть борьба на законной почве, без насилия, медленное, шаг за шагом отвоёвывание гражданских прав. Однако положение, по мнению Толстого, только ухудшается, а та сила, против которой борются, становится всё могущественнее, сильнее и наглее. Толстой объяснял, почему оба способа никуда не годятся. Первый — потому что порядок, установленный посредством насилия, чреват ещё бóльшим насилием. Второй — потому что правительство никогда никого не допустит к делам, подрывающим его власть.

«Что же делать?»⁸ — восклицал Толстой. И сам отвечал: «Простое, спокойное, правдивое исполнение того, что считаешь хорошим и должным, совершенно независимо от правительства, от того, что это нравится или не нравится ему. <...> Что может сделать правительство с человеком, который не хочет публично лгать, поднимая руку, или не хочет детей отдавать в заведение, которое считает дурным, или не хочет учиться убивать людей, или не хочет участвовать в идолопоклонстве, или не хочет участвовать в коронациях, встречах и адресах, или говорит и пишет то, что думает и чувствует?..»⁹

Принципиальный и последовательный отказ от публичной лжи Толстой рассматривал как **третье** средство борьбы, которое необходимо испытать, ибо первые два потерпели крах. «Средство это, коротко выраженное, состоит в том, чтобы всем просвещённым и честным людям стараться быть как можно лучше, и лучше не во всех отношениях, а только в одном, именно соблюсти одну из самых элементарных добродетелей — быть честным, не лгать <...>. Средство это кажется очень слабым, а между тем я убеждён, что только одно это средство двигало человечество с тех пор, как оно существует. Только потому, что были такие люди — прямые, правдивые, мужественные и не уступавшие никому в деле своего человеческого достоинства, и совершились все те благие перевороты, которыми теперь пользуются люди, — от уничтожения пытки, рабства до свободы слова и совести... Только человек, живущий сообразно своей совести, может иметь благое влияние на людей и только деятельность, сообразная с совестью, может быть полезна»¹⁰.

История XX века показала, что из трёх способов борьбы с несправедливой властью надолго (хотя, быть может, и не навсегда) одержал верх путь насилия, безоговорочно осуждённый Толстым. К тому моменту, когда воззвание Солженицына «Жить не по лжи!» ушло в мир, толстовский завет — жить по совести и правде, согласно человеческому достоинству, отказаться от лжи во всех её проявлениях — уже давно воспринимался как утопия, а сам Толстой как мечтатель-максималист. Ибо количество лжи, необходимое для уютного общественного самочувствия, за восемь десятилетий многократно возросло, общество привыкло и притерпелось ко лжи, не чувствуя, за малым исключением, ни стыда, ни боли. Третий путь, предложенный Толстым, не сработал на уровне масс, но оставался образцом для одиночек. Потому что слова Толстого о людях — прямых, правдивых, мужественных, не уступавших никому своего человеческого достоинства — прямо относились и к нему самому, автору «Войны и мира», создателю «Анны Карениной». Девизами его собственной практики было не только личное переживание правды, но и громкое, на весь мир, публичное её отстаивание (отсюда выросло и его знаменитое «Не могу молчать!»)¹¹.

По сути дела, Толстой опробовал, а Солженицын на новом витке истории применил *третий* и *четвертый* путь: третий адресовался *как бы* всем, четвертый — относился только к тем, кто способен был решиться на большее. Но вот что важно: с точки зрения и Толстого, и Солженицына третий путь (жить по правде, отвергать ложь) — это самый *минимум* общественного протеста, мирный путь, не требующий жертв, способ сохранения для рядового, но честного человека своего внутреннего «Я» и своего душевного комфорта. Это возможность для каждого, не вступая на путь губительной борьбы с режимом, где на кон ставится жизнь и свобода, чувствовать себя порядочным человеком, а не конформистом-предателем. Необходимо подчеркнуть, что Солженицын никогда никого не призывал к

активным формам борьбы, к открытому столкновению, предлагая лишь пассивное сопротивление тем тысячам поверивших ему людей, которые согласно логике политического противостояния могли бы стать пушечным мясом. В условиях советского тоталитарного строя Солженицын сберёг людей, помог им сохранить не только обычный уклад жизни, но и самоуважение. «Дело прочно, когда под ним струится кровь»¹², — писал в XIX веке Н.А. Некрасов: персонаж его стихотворения, Гражданин, призывая идти в огонь «за честь отчизны, за убеждение, за любовь», имеет в виду, конечно же, свою, а не чужую кровь. В этом смысле Солженицын, как и Толстой, отказавшись от насильственных методов борьбы, не соблазнившись толкнуть «малых сих», не защищённых мировой известностью, на открытое противостояние, дали миру фундаментальный урок подлинного гуманизма¹³.

Другое дело, чем на самом деле стало воззвание Солженицына «Жить не по лжи!» для миллионов соотечественников. И главное — осознавалось ли оно ими как *минимум* общественного сопротивления? Думаю, что нет. Думаю, что с точки зрения рядового человека — это был самый *максимум*, трудно выполнимый как раз потому, что лишал тех привилегий, которые дает путь мнимой, показной лояльности режиму. Мирно, но непримиримо противостоять системе ложных ценностей, и даже пребывание вне системы этих ценностей тоже оказалось немалым испытанием, которое выдержали далеко не все, кто тогда прислушивался к Солженицыну.

За рамками возвания оставался вопрос: что́ считать за правду? Правда Солженицына, знакомая читателям его сочинений, никогда не казалась абсолютной и самоочевидной (и эта правда во многих пунктах резко расходилась с правдой Л.Н. Толстого). За рамками возвания остался и другой ряд трудных вопросов — живут ли *по правде* граждане свободного мира? Обеспечивают ли политические свободы свободу *жить не по лжи*? За рамками возвания остались конкретные примеры (кто *уже* живет не по лжи) и «инструкция по применению» — всегда ли возможно *жить не по лжи* в частной жизни и в тех случаях, когда эта ложь щадит слабого? И вообще: где границы принципа? Как вести себя с врагом, соперником, конкурентом? Даже если Солженицын имел в виду только общественное, а не бытовое, семейное, личное поведение граждан, каждый серьёзный человек хотел проверить принцип, испытать его универсальность. Потому только с первого взгляда императив Солженицына мог показаться делом лёгким и скорым, рецептом простым и понятным. Мысль, которую по призыву Солженицына надо было разрешить каждому максималисту-соотечественнику, требовала полного пересмотра бытия и сознания. Вроде бы лёгкий и доступный путь на деле оказывался труднопреодолимым барьером.

Как вследствие моральных призывов Л.Н. Толстого, так и вследствие возвания А.И. Солженицына общественной лжи не убавилось. Скорее, она стала другой, более изворотливой и хитрой, менее однообразной и не столь тупой, как прежде. Предложенный Солженицыным 35 лет назад мягкий

кодекс сопротивления неправде оказался совсем не таким лёгким и доступным, как думалось писателю. Жить не по лжи тем труднее, что по вопросу «что считать за правду?» общество расколото даже не надвое, а на множество частей, у которых разная правда, разные идеалы, разные кумиры, а стало быть, и разные понятия о составе лжи. Ложь и правда образуют ныне совсем не чёрно-белую, а пёструю мозаичную картину. Ложь, даже самая чудовищная, примелькалась и уже мало кого возмущает; правда же, какой бы болезненной она ни была, не слишком опасна, ради неё ничем не жертвуют, за неё ничем не расплачиваются, она допущена и позволена, но чаще всего на неё просто не обращают внимания. К тому же правда и ложь порой неотделимы друг от друга и живут в симбиозе. Произошло то, чего больше всего боялась русская литература XIX века, — правда и ложь стали нуждаться друг в друге, сосуществуя как равноправные версии.

Так, в Германии публичное воспоминание о Второй мировой войне сегодня вписано в контекст воспоминания о нацистском режиме и Холокосте, а в России — в дискурс великой победы, вне связи с ГУЛАГом и сталинским террором. Боль войны как бы даже заслонила страшную травму ГУЛАГа, так называемое «мирное время» арестов и расстрелов противопоставлено бремени военных потерь. Официальную историю этой войны современные историки называют «заградительным мифом»: миф возник как «заградитель» ГУЛАГа. «Вражеское вторжение помогло [власти] легитимизировать террор — реальный внешний враг позволял задним числом оправдать репрессии, представив их как превентивную борьбу с агрессией»¹⁴. Потому «эффект Солженицына», то есть окончательное разочарование в советском коммунизме после публикации «Архипелага ГУЛАГ» действует отнюдь не на всех. Советский коммунизм не скомпрометирован в глазах значительной части общества, которое либо ностальгирует по сильной руке, либо подвержено амнезии и моральной атрофии, либо продолжает считать сталинскую систему лагерей или коллективные депортации народов обоснованными действиями. По данным последних социологических опросов, более половины российской молодёжи считают, что Сталин сделал больше хорошего, чем плохого¹⁵. Осуждение сталинизма оказалось краткосрочными политическими акциями, подчинёнными политическим конъюнктурам начала 1960-х и конца 1980-х. И теперь важно понять: общество как целое никогда не будет однозначно «относиться» ни к каким историческим событиям или эпохам. Показательно также, что девиз «Жить не по лжи!» воспринимается как идеологически не маркированный, ибо вполне используется и теми, кто совершенно не приемлет «правду Солженицына», а держится прямо противоположных взглядов на отечественную историю и современную действительность.

Воззвание Солженицына в контексте его судьбы касается самых сокровенных глубин человеческого существования — не только государства, но и каждой отдельной личности, ибо подразумевает веру в способность

даже одного человека противостоять всеобщему конформизму. Однако на наших глазах девиз «Жить не по лжи!» превращается в расхожий и исключительно удобный слоган для всякого рода съездов и конференций, газетных заголовков и журнальных рубрик. То есть повсеместно и ежечасно профанируется — так же, как, например, знаменитое дostoевское «Красота спасёт мир». Девизу ставят задорные вопросы в духе жёлтой прессы («с кем писатель живёт не по лжи?»), а порой даже уличают в отсутствии подлинной (т. е. православной) духовности: «Солженицын много говорит... о необходимости упрочения российской государственности и сбережения русского народа — но нигде не отвечает на вопрос: а для чего? <...> Солженицын постоянно призывает жить не по лжи... А зачем?»¹⁶ Ортодоксальный критик Солженицына, подозревая писателя в недостатке веры («Не деист ли он — в своих суждениях о Боге?»¹⁷) спешит подсказать писателю, *зачем и для чего* надо жить не по лжи — чтобы «крепить веру», ибо «нравственность не цель, а средство»¹⁸.

Нынешние социологи и политические философы, спрошенные, может ли современное общество следовать девизу Солженицына, откровенно признаются, что чем больше живут, тем больше понимают, как просто и в то же время как невероятно сложно осуществить на практике эту заповедь. Ибо эта этическая «привилегия» доступна очень узкому кругу людей — ведь она влечёт за собой слишком много малоприятных общественных, служебных и личных последствий. Все понимают, что жить по правде — это не значит просто не лгать. Это ещё значит не молчать, из соображений целесообразности и политкорректности, это значит — не признавать и лжи во спасение. На вопросы — можно ли всё время говорить одну только чистую правду? В политике? В семейной жизни? В медицине? В юриспруденции? В быту, наконец?.. — и социологи, и философы-моралисты уверенно отвечают: нет, нельзя: вся правда непереносима.

«Что, если бы вас вдруг заставили всегда говорить одну только правду?» — на этот отечественных вопрос социологов отвечали российские граждане всех возрастов, с разным уровнем достатка. Оказалось, люди в большинстве своем радостно готовы обманывать государство, скрывая доходы, получая зарплаты в конвертах, при этом к политикам у них требования много выше, чем к самим себе. «Мы врём, значит, мы существуем» — таков откровенный ответ респондентов социологических опросов. «Врать и не бояться» — этот совет популярного депутата думы воспринимается сегодня всего-навсего как милый постмодернистский эпатаж (поскольку в иных случаях этот депутат говорит обратное: «не врать и не бояться»). «Ложь — не правовой термин», — заявляют юристы. Адвокат работает не для истины, а для своего клиента — так устроено право со времён Древнего Рима. Адвокат правды не знает и знать её не хочет. Адвоката интересуется, доказано ли обвинение. Адвокат может чувствовать, что клиент лжёт, но он никогда не сделает ничего, чтобы ему навредить.

Понятие правды и лжи относительно — это краеугольный камень юриспруденции. Полную истину не знает никто, поэтому истиной считается доказанность или недоказанность обвинения в суде.

«Одно слово правды весь мир перетянет», — сказал однажды Солженицын¹⁹, напомнив излюбленную народную пословицу. Современное общество это запомнило, но, тем не менее, научилось бойко отвечать: не пойман — не вор, не обманешь — не продашь. Ответ на девиз «Жить не по лжи!» (даже если он касается только отношений человека с государством), сегодня проблематичен как никогда. Ибо едва встаёт вопрос «Что считать за правду?», никто никого не слышит и ни о чём договориться не может. Отказаться от лжи как от нормы жизни при расколоте памяти и разорванном сознании, при торжестве рыночной психологии и всевластии денег оказывается делом непосильным. Эту ношу наше общество пока не потянуло, потому смотреть правде в глаза не любит. А литература, кино и телевидение как будто даже рады представить мораль условностью, ложь и правду ситуативными, истину многозначной и потому призрачной. Литературные и экранные персонажи успешно усваивают, что в мире есть не только свет и тьма. Есть ещё сговоры, уступки, соглашения, жизнь не по правде, а «по понятиям». Потому они, эти персонажи, предают друг друга, используют компромат, провокации, ловушки. Герои, слывущие положительными, учатся бить аккуратно, чтобы не оставалось следов. Они думают, что действуют во имя добра, но не ведают, что зло уже перетянуло их на свою орбиту.

Остаётся урок Солженицына, великий пример одинокого противостояния и победы над своим страхом и слабостью, а значит и шанс, что огонь одной единственной жизни озарит, а может быть, и преобразит массу человеческих туманностей.

¹ *Солженицын А.И.* Публицистика. В 3-х т. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1995. Т. 1. С. 189.

² *Солженицын А.И.* Бодался телёнок с дубом. М.: Согласие, 1996. С. 167.

³ Там же. С. 182.

⁴ Там же. С. 300.

⁵ Там же.

⁶ См.: *Струве Н.А.* Вокруг письма А. Солженицына Патриарху Пимену // Никита Струве. Православие и культура. М.: Русский путь, 2000. С. 30.

⁷ *Толстой Л.Н.* Письмо А.М. Калмыковой от 31 августа 1896 года // *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. Репринтное воспроизведение издания 1928–1958. М.: Терра, 1992. Т. 68–69. С. 128.

⁸ Там же. С. 131.

⁹ Там же. С. 132, 136.

¹⁰ Там же. С. 137.

¹¹ «Но соизмерять личности Л. Толстого и А. Солженицына — это как землю мерить с воздухом или воду с огнём, — говорит современный писатель О. Павлов, не видя у Толстого ничего от борьбы. — Это не просто иные — это взаимоотталкивающиеся творческие стихии. Солженицын — борец. Толстой — созерцатель. Один взывал жить не по лжи, что подразумевало борьбу, возмущение. Другой исповедовал под конец жизни непротivление злу, смирение. Толстой верил в мировую волю, эту веру воплотил в “Войну и мир”; Солженицын — волю мировую в “Красном Колесе” разъял на осколки и судьбы, растворил в почти почасовой хронике исторических событий. Толстой полагал, что приносит своему народу какое-то страдание. Солженицын — что избавляет от страданий свой народ. Иначе сказать, один ощущал себя чужим и одиноким в своих убеждениях, тогда как другой писал от имени миллионов» (*Павлов О.* Александр Солженицын в зазеркалье каратаевщины // <http://www.pereplet.ru/text/pavlov17fev.html>) С таким выводом, однако, трудно согласиться — хотя бы потому, что современники Л.Н. Толстого воспринимали писателя именно как борца с режимом, как бунтаря против официальной церкви, против государства, армии и других его институтов. Свидетельство тому хотя бы пресловутое «отлучение» Толстого...

¹² *Некрасов Н.А.* Поэт и гражданин. 1855–1856 // *Некрасов Н.А.* Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. Л.: Наука, 1981. Т. 2. С. 9.

¹³ Современные публицисты и политики порой даже упрекают Солженицына в том, что он не вдохновил народ на открытую борьбу с режимом и сам не возглавил её. См., напр.: «Солженицын мог стать подобием Хомейни или Ганди (но отнюдь не нелепого и беспомощного Троцкого, жившего иллюзиями и убитого сразу после того, как у “Хозяина” отпала в нём надобность) — проповедником, слово которого вело бы миллионы разбуженных им людей на героическую борьбу. Он мог даже после своей высылки — он имел силу — толкнуть эти миллионы на открытое столкновение с режимом и, вынудив его защищаться и в ходе этой защиты автоматически стать бесчеловечным, попытаться либо разрушить, либо преобразовать его. Он мог стать пророком, а повезёт — так и национальным лидером, и отказался от этого сам. Похоже, сознательно — и отнюдь не из страха бессилия: люди, прошедшие войну и лагеря, боятся иного, чем остальные. Да и неуверенность в себе несовместима с человеком, без тени сомнения перекраивавшим под свои вкусы не что-нибудь, а сам русский язык... Многие наши демократы, либералы и человеколюбцы делали (или пытались сделать) это не моргнув глазом, не испытывая ни малейшего внутреннего колебания. Насквозь тоталитарный Солженицын этого не сделал, дав возможность относительно нормально жить в нашей стране миллионам не приемлющих ее граждан. Он сберёг их, помог им сохранить бытовой и душевный комфорт, помог им отказаться от борьбы за лучшее будущее, не теряя лица в собственных глазах. Тем самым он, возможно, лишил Советский Союз и советский народ возможности сохраниться, но

ведь путь борьбы мог кончиться и крахом...» (*Делягин М.* Тоталитарный гуманист // Независимая газета. 2008, 11 декабря).

¹⁴ См. напр.: *Хапаева Д.* Готическое общество: морфология кошмара. М.: Новое литературное обозрение, 2007. С. 86.

¹⁵ См.: Там же. С. 95.

¹⁶ *Дунаев М.М.* Православие и русская литература. М., 1996. Ч. 6. С. 343–344.

¹⁷ Там же. С. 346.

¹⁸ Там же. С. 345.

¹⁹ *Солженицын А.И.* Нобелевская лекция // *Солженицын А.И.* Публицистика. В 3 т. Т. 1. С. 25.